

VI. Рецензии

Лариса Лисюткина

Последний труд Льва Копелева.

Пятый том Вуппертальского проекта (серия А) „Отражения Запад-Восток“ под редакцией покойного Льва Копелева и Герда Кёнена *Германия и русская революция (1917- 1924)*¹ был недавно переведен на русский язык.² Сквозная тема серии А – образ России и русских в Германии. Во введении к тому оба редактора определяют свою задачу: „Ценность этого проекта состоит не только в отдельных статьях, охватывающих и основательно изученные, и неосвоенные тематические пространства. По-настоящему прирост нашего знания должен вытекать из синхронной увязки всех разнообразных аспектов и перспектив и их фокусирования на определённом временном отрезке, который таким образом подвергается исследованию как особый исторический хронотоп“ (с.10). Понятие „хронотоп“ использовалось Михаилом Бахтиным в его теории романа.

Завершающий этап работы проходил уже без Льва Копелева, умершего в июне 1997 года. Послесловие „Вопросы остаются“ – один из последних текстов, написанных Л. Копелевым.

С первых же страниц книги читатель может оценить не только её содержание, но и *литературный стиль*: заметно, что оба издателя придавали ему большое значение. В результате, при всём многообразии авторских манер изложения (в сборнике участвуют 22 специалиста из самых различных областей гуманитарных наук – историки, культурологи, политологи, литературоведы), сборник в целом отличается определённым единством стиля и высоким уровнем владения языком. Противоречивое, зачастую парадоксальное повествование о трагическом времени, определившем судьбы России и Германии в 20-м веке, может быть адресовано не только профессионалам, но и довольно широкому кругу взыскатель-

¹ Koenen, Gerd u. Kopelew, Lew (Hrsg.): Deutschland und die Russische Revolution. 1917 – 1924. (= West-östliche Spiegelungen. Russen und Rußland aus deutscher Sicht und Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht von den Anfängen bis zum 20. Jahrhundert. Wuppertaler Projekt zur Erforschung der Geschichte deutsch-russischer Fremdenbilder. Unter der Leitung von Lew Kopelew. Reihe A, Band 5). München 1998.

² Герд Кёнен и Лев Копелев: Германия и русская революция 1917 - 1924 гг. «Памятники исторической мысли», Москва 2004 г.

ных читателей, не довольствующихся поверхностными сведениями о России. Солидный объём книги позволил включить в неё остро дискуссионный, разнообразный, яркий материал, в том числе иллюстративный. Хронологически том охватывает первые семь лет истории коммунистической России, от революции до смерти Ленина, при этом осмысление начала века происходит с позиций знания и опыта, накопленных к его концу. Почти весь материал можно спроецировать – либо по сходству, либо по контрасту – на актуальные конфликты и события, которые у нас на глазах завершили XX век. В этом смысле том содержит колоссальный историко-философский потенциал.

После короткого введения книга открывается великолепным образцом устной истории: „*Проигранные сражения, обретённые прозрения. Взгляд назад в конце эпохи*“ – так поэтически озаглавлена вводная беседа обоих соиздателей, Льва Копелева и Герда Кёнена. Лев Копелев (1912-1997), ровесник и свидетель века, выступает в этой беседе как человек-документ. В его ответах на вопросы Г. Кёнена объективное историческое время накладывается на субъективное, переживаемое, экзистенциальное время личности, эпохальные события и факты предстают на фоне конкретной биографии и в рамках личного опыта человека. Исторический источник (повествователь) и его собеседник являются одновременно и аналитиками. Этот спор двух специалистов-эрудитов, коллег по изданию серии, Г.Кёнен называет и диалогом поколений.

Благодаря многообразию точек зрения, тем и смене форм изложения – диалог, документ, иллюстрация, аналитическое исследование, библиография – объёмистый том лишён даже намёка на монотонность. Он *полифоничен*, если использовать ещё одно известное определение М.Бахтина. События эпохи предстают в разных ракурсах, регистрах, культурных измерениях. Но они не распадаются на калейдоскопические фрагменты, а воссоздают – через интегрирующее участие личностей издателей и уже упомянутое стилистическое единство – целостный *жизненный мир* той эпохи.

Реконструкция *жизненного мира* (термин Г.Зиммеля) – самая сложная задача, какую может поставить перед собой исследователь. Без личности Л.Копелева, без синтеза всего исследовательского материала в его индивидуальном опыте постановка такой задачи была бы невозможна. Её решение всегда осуществляется на стыке науки (примат абстрактного, общезначимого) и искусства (примат единичного, индивидуального). Все авторы сборника – учёные, но предметом и источником их анализа часто являются феномены культуры и искусства, которые обильно цитируются и документируются в тексте. Необходимость постоянно перестраивать механизм восприятия, переходить от аналитического текста к цитате из текста художественного, к иллюстрации, к первоисточнику, к документу создаёт для читателя ситуацию творческого вызова и соучастия.

Композиционно том разделён на четыре части: 1. Мировая война и мировая революция; 2. Развал и прорыв; 3. Встречи и влияния; 4. Взгляды и перспективы. Эти четыре раздела обрамлены соответственно предисловием и вступительной беседой обоих соиздателей в начале и заключительной статьёй Льва Копелева „Вопросы остаются“ и библиографией литературы на немецком языке о России и большевизме в конце тома. Составлена библиография Г. Кёненом и заслуживает сама по себе отдельной рецензии. Автор не снабдил её сквозной нумерацией, но достаточно сказать, что она занимает в книге 110 страниц, снабжена отдельным введением и систематическим указателем. Это первая попытка составления подобного рода библиографии. Все специалисты по истории и культуре России получили от Г. Кёнена неоценимую помощь.

Всего в сборнике 27 статей и материалов. В заглавиях 13-ти из них стоят имена личностей, повлиявших прямо или косвенно на события эпохи, либо на доминировавший тогда историко-философский и идеологический дискурс. В списке этих исторических деятелей рядом со всемирно известными именами – Маркс, Ленин, Роза Люксембург, Освальд Шпенглер, Томас Манн – стоят и такие, которые исследователи довольно редко связывают с Россией, а в самой России о них и вовсе почти ничего не известно: Максимилиан Харден и Франц Юнг, например. Ханна Арендт конечно же известна, но специального исследования, посвящённого её отношению к России, в российском обществоведении до сих пор нет. Этот пробел восполняется статьёй Карла Шлёгеля „Археология тотальной власти. Россия в поле зрения Ханны Арендт“.

Идеологии и теории, оказавшиеся в центре внимания соиздателей, связаны с упомянутыми выше именами. Кроме того, нашли освещение проблемы царизма и большевизма (Юрген Царуски), образ России в идеологии НСДАП (Йоханнес Баур), национал-большевизм (Луи Дюпо), евразийство и „консервативная революция“ (Леонид Люкс), оценка русской революции в немецкой социологии и общественных науках (Дитмар Дальман) и целый ряд других тем.

Важное место в сборнике заняла проблема соотношения между идеей политической революции и революции в культуре. Она рассматривается довольно широко, практически по всему спектру культуры и искусства – в литературе (Г. Кёнен), в театре (В. Колязин), в кино (О. Булгакова), в живописи (М. Дмитриева-Айнхорн), в обеих странах и в среде российской эмиграции (Ф. Мирау).

Вклад Герда Кёнена составляет без малого половину сборника: предисловие, вводная беседа со Львом Копелевым, пять фундаментальных статей и уже упомянутая полная библиография по периоду 1917-1924 г.г. Это своего рода книга в книге, ибо все статьи Г. Кёнена объединены общей темой, которую можно обозначить как „Немецкие свидетельства о русской революции“. Две из них – „Размышления аполитичного«. Томас Манн о России и большевизме“ и „Великое переселение народов „снизу“. Вальтер Ратенау о России и Советах“ посвящены

восприятию этого события двумя выдающимися представителями немецкой культуры и политики. Три другие статьи: „О духе русской революции“, „Индия в тумане“ и „Картины мифических мастеров“ – показывают, как истолковывали революционные преобразования в России первые немецкие свидетели и путешественники и как воспринималась в Германии русская литература после первой мировой войны и революции. Соответственно, меняется контекст взгляда на эти события: геополитический (Ратенау), культурно-философский (Томас Манн), повседневный (путешественники, журналисты).

При первых же сообщениях о русской революции многие партии и политические течения в Германии горячо приветствовали её. Мотивы одобрения формулировались по-разному, но их прагматическая подоплёка была вполне ясной: первая мировая война тянулась уже почти три года, и все политические группировки в Германии были заинтересованы в перевороте, радикально изменившем ситуацию в лагере противника. На этом консенсус кончался и начинался поистине бесконечный разнобой в истолковании смысла и характера происшедшей революции. Положение осложнялось тем, что довольно долго, примерно до весны 1920 года, Россия находилась в информационной блокаде. Ближайший пункт, откуда наблюдатели и корреспонденты могли следить за событиями, был Стокгольм. Именно оттуда одними из первых отправились в Москву два немецких корреспондента: Альфонс Пакет и Ханс Форст. И сегодня их сообщения, размышления, впечатления, картины событий и портреты вождей первого часа революции, до сталинского террора и до показательных процессов, воспринимаются с не меньшим интересом, чем в 1917/18 г.г.

А. Пакет, к примеру, ещё по Стокгольму знал Карла Радека и описывал его тогда как маньяка и пустомелю, „пролетарско-еврейского Наполеона“, ни одно слово которого нельзя принимать на веру. Но вот он встречает его в разорённой и разрушенной Москве – деловитого, элегантного в чёрной комиссарской кожанке, склонившегося над картой мира в шикарном номере гостиницы „Метрополь“ и планирующего мировую революцию. Ещё одна впечатляющая встреча – с железным Феликсом Дзержинским, кровожадным владыкой Лубянки. Его характеристика: „Мелкопоместный дворянин из Литвы, ставший профессиональным революционером, тщедушный фанатик вроде Сен-Жюста, подписавший больше смертных приговоров, чем любой смертный до него“ (с. 67). На первый взгляд эти слова свидетельствуют о критической дистанции автора. Ничего подобного. Тут-то и завязывается загадка, ответ на которую в течение всего 20-го века так и не найден. От этих мегаманьяков, убийц и разрушителей и от их утопических идей исходил почти непреодолимый соблазн. Тексты, написанные первыми немецкими свидетелями революционных событий в России, документируют воздействие этого соблазна, над загадкой которого бились большие писатели 20-го века (А. Кёстлер, Дж. Оруэлл, Б. Пастернак, А. Солженицын). А. Пакет, приехав-

ший в Москву убеждённым немецким националистом, покидает её почти агентом Коминтерна. Другие свидетели – Х. Форст, А. Мослер, П. Ольберг, А. Крузефон Якимов, Ф. Кляйнов – не дали себя увлечь революционными идеями до такой степени, но, описав объективно и зачастую даже беспощадно ужасы революции и красного террора, они всё же высказывали убеждение, что в большевистском эксперименте „заключён скрытый диалектический смысл“. Ф. Кляйнов, например, видел этот смысл в том, что „мефистофельская сила большевизма сметает все препятствия на пути создания экономически единой Европы“ (с. 85), другие авторы подчёркивали, что жестокость революции представляет собой закономерный продукт старого режима, и даже известие о расстреле императорской фамилии было, как пишет Г. Кёнен, встречено в Германии, „помимо вполне заурядного возмущения, с ощутимым подтекстом удовлетворения“ (с. 86). Казнь воспринималась как справедливое возмездие за жестокости царской юстиции по отношению к революционерам и как реакция на общее бесправие и угнетение народа в царской империи. Довольно редким исключением была позиция Вернера Зомбарта, который видел в большевизме „анти-человека, который говорит „нет“ всему, что породил в своём развитии человеческий дух... Большевики не только против капитализма, но и против религии, против аристократии, против либерализма, против парламентаризма, против национализма, против пацифизма, против морали и т. д. и т. п. Они одобряют только абсолютное отрицание, им любезна лишь идея разрушения, они жертвуют собой только ради „революции“, то есть, ино-бытия, вечно „прогресса“ на пути к новым и новым формам...“ (с. 89). Зомбарт считал русскую революцию лучшим доказательством того, что новую экономическую систему невозможно в принципе создать насильственным путем. Социализм, утверждал он, должен вырасти органически, подобно тому, как растут растения, как выросла система ремесленного производства, а затем капитализм, и никакая сила в мире не может ускорить этот процесс хотя бы на месяц.

Надо, конечно, учитывать, что интерес и восторг по отношению к русской революции в значительной степени были порождены антизападными настроениями в Германии после её поражения в первой мировой войне. В начале века все европейские страны в той или иной форме искали выхода из кризиса, но в Германии эти поиски приобрели особую остроту и болезненность. Российская революция всего лишь на год опередила немецкую Ноябрьскую революцию, и пока Ноябрь созрел в недрах немецкого общества, русский опыт был, конечно же, в центре внимания. А так как за своими пределами Россия была представлена не революционным террором, а революционным искусством, то восторженные реакции на новый политический режим в значительной степени понятны. Конечно, за рубежом знали не только об авангарде, но и о красном терроре, но это была абстрактная информация, а гастроли московских театров, фильмы Эйзенштейна,

стихи и романы нового поколения поэтов и писателей воспринимались непосредственно.

В статье „Картины мифических мастеров. О восприятии русской литературы в Германии после мировой войны и революции“ Г. Кёнен показывает, как эмигрантские русские издательства, частные немецкие издательства и Коминтерн независимо друг от друга буквально наводнили Германию переводами русских книг. Издавали всё, от классики до современности, от полного собрания сочинений Ленина и Троцкого до полных собраний Пушкина, Толстого, Достоевского, Горького. Этому способствовали многие обстоятельства. Во-первых, Г. Кёнен указывает на огромный интерес к русской литературе. Он цитирует в этой связи Г. Гессе, для которого несомненным был тот факт, что для европейской, и в особенности немецкой молодёжи писателем номер один являлся не Гёте, а Достоевский (см. с. 763). Вокруг имени и личности этого писателя на рубеже веков вращался весь культурно-исторический и философский дискурс о России. О. Шпенглер утверждал, что Толстого, к примеру, можно поставить в один ряд с Марксом, Ибсеном или Золя. Достоевский же не принадлежит никому. Он – святой, а Толстой – всего лишь революционер. „Настоящий русский, – писал Шпенглер, – всегда последователь Достоевского, хотя он его и не читает, хотя и *потому что* он вообще не умеет читать. Он сам – частичка Достоевского“ (см. с. 767). Не удивительно, что при таких установках продолжала действовать излюбленная западноевропейская традиция предельной мистификации России. Обилие информации её ничуть не поколебало. Чего стоят, например, поэтические определения Рильке: „Россия – страна, которая граничит со сказкой“, „Страна Рюрика, в которой до сих пор длится первый день божественного творения“, „Если о народах говорить как об отдельных людях, то может отыскаться народ-солдат, народ-купец, народ-учёный. А русский народ – это народ-художник“ (см. с. 765).

Вторая немаловажная причина огромной популярности русской культуры в послевоенной Германии – это более чем полумиллионная армия российских эмигрантов. Согласно данным немецкого министерства иностранных дел и Лиги Наций в Женеве, в Германии в 1923 году осели 600000 русских эмигрантов. Из них 350000 в Берлине. В основном это были люди с высоким уровнем образования, для которых русский язык и литература стали единственной нитью, связывающей их с родиной. Естественно, что они самым активным образом взяли на себя роль культурных посредников, которую до начала массовой эмиграции из России выполняли главным образом балтийские немцы (их роль в формировании германско-русских отношений и образа России в Германии является одной из сквозных тем сборника). Третье обстоятельство, побудившее книгоиздателей к невероятной активности – низкие инфляционные цены на полиграфическую продукцию в Веймарской Германии. Всё вместе, и не в последнюю очередь активность советского агитпропа и Третьего Интернационала, не дало прерваться

культурным контактам с советской Россией. Читательский интерес в Германии, вопреки всем пессимистическим предсказаниям о конце русской литературы, быстро был завоёван новыми литературными именами и обе страны, несмотря на разделявшие их политические и идеологические пропасти, остались, тем не менее, и после революции в едином поле культурного дискурса.

Пример такого дискурса приводится в статье Леонида Люкса „Евразийцы“ и „консервативная революция“. Искушение антизападничеством в России и в Германии“. Автор опубликовал уже целый ряд работ (в том числе и на русском языке), посвящённых уникальному в своём роде идейному феномену российского евразийства. Ещё более удивительным оказывается сопоставление евразийства с немецкой „консервативной революцией“ – идеологией, сложившейся в Германии как ответ на сходную с российской ситуацию. В контексте статьи Л. Люкса особенно наглядно работает принцип хронотопа, взятый за основу композиционного и теоретического единства книги. Автор показывает, как в обеих странах две противоречивых установки: враждебное отношение к Западу и одновременно потребность в модернизации – породили стремление найти опору в собственных исторических корнях, но не в *старом*, а в *древнем*, как писали теоретики евразийства.

Обе теории были разработаны учёными-профессионалами и отличались предельной радикальностью постулатов, экстравагантной аргументацией, определенным изяществом внутренней логики и огромной эрудицией авторов. Всё это работало не в пользу успеха обеих теорий. Для того, чтобы превратиться в идеологию и овладеть массами, научная теория должна поддаваться упрощению и вульгаризации. Именно благодаря примитивности постулатов вульгаризованного марксизма и изначальной примитивности расовой теории национал-социализма, наличию в обеих конкретного образа врага, они стали символами веры для широких масс населения. У евразийства и „консервативной революции“ такого потенциала упрощения не было. Они оперировали довольно сложными историческими, культурными и геополитическими категориями, которые по определению не могли быть переведены на язык массового потребителя. Образ Запада как враждебной культурно-исторической модели был слишком абстрактным, депersonализованным. Евразийцы, к примеру, попытались представить в положительном свете татаро-монгольское господство, под давлением которого Россия сошла с пути нормального европейского развития и уклонилась в сторону азиатского деспотизма. Евразийцы указывали на то, что большая часть российской территории лежит в Азии, а не в Европе, и, следовательно, азиатское начало должно быть признано легитимной частью российской исторической традиции. С этих позиций евразийцы пытались объяснить и оправдать власть большевиков, также отвергавших западный путь развития под общим обозначением „капитализм“. Они рассматривали большевистскую революцию как возмездие за петровские

реформы и проповедовали „исход к Востоку“ (так называлась одна из программных книг евразийского движения).

Евразийская критика Запада была гораздо радикальнее славянофильской, сформировавшись в условиях всеобъемлющего кризиса западной культуры и революционных событий в России. То же самое относится к идеологии „консервативной революции“ в Германии, ополчившейся против бессилия и безличного характера веймарской демократии. Политический идеал теоретиков „консервативной революции“, как и евразийцев, лежал не в ближайшем прошлом (Вильгельмовскую империю они отвергали), а в далёком средневековье. Веймарская республика – временное образование, утверждал, например, Мёллер ван ден Брук, в вечном „третьем рейхе“, который придёт ей на смену, должны исчезнуть различия между правыми и левыми, между протестантским Севером и католическим Югом, как это было перед лицом военной угрозы в 1914 году („Третий Рейх“, 1923). В отличие от евразийцев, „консервативные революционеры“ делали ставку на харизматического властителя – „цезаря“, который призван был вернуть в политику „мужество, честь и достоинство“, вытесненные в условиях демократии безличным господством норм. При этом обе идеологии беспощадно критиковали наследие Просвещения с его „духом законов“, либерализмом и „полусонным гуманизмом“. Эрнст Юнгер утверждал, что „только на войне немцы чувствуют себя в родной стихии. Единственная толпа, которая не выглядит смешно – это армия“. В унисон с Э. Юнгером звучала проповедь О. Шпенглера: „История стран – это история войн. За идеи, которые подлежат немедленному воплощению, приходится бороться оружием, а не словами“ (см. с. 229).

Евразийцы, напротив, считали, что новая форма власти, соответствующая духу времени – идеократия, должна опираться не на личности, а на идеи. Л. Люкс видит в этом продолжение старинной российской традиции, ибо и царизм, и большевистская диктатура были, по сути дела, идеократиями.

Оба течения – и евразийство, и „консервативная революция“ – восхищались большевистским экспериментом и призывали „учиться у большевиков в их борьбе против Запада“. Но их судьбы сложились по-разному. „Консервативные революционеры“ проделали подготовительную работу по разработке идеологии НСДАП и способствовали её приходу к власти. Евразийцы, как пишет Л. Люкс, „отражали в своём культур-пессимизме не внутривосточные, а в принципе западноевропейские процессы... Несмотря на все их отчаянные попытки проникнуть в послереволюционное развитие России и идентифицировать себя с ним, они были гораздо ближе к духовной позиции западноевропейцев, нежели своих соотечественников в Советском Союзе. Хотели они того или нет, но в конечном счёте они были представителями той самой европеизированной элиты, уничтожение которой в ходе революции они приветствовали“ (см. с. 233-234).

В эмиграции евразийские идеи некоторое время горячо обсуждались, но на родине они остались ненужными и неизвестными, ибо в тот период преобладающим настроением масс был революционный энтузиазм и безграничная вера в светлое будущее. Идеологи евразийства Сергей Эфрон (муж Марины Цветаевой) и кн. Святополк-Мирский вернулись из эмиграции в СССР, были арестованы и расстреляны. Только после развала СССР, спустя почти 70 лет после возникновения евразийской концепции, стали предприниматься попытки её искусственной реанимации и даже придания ей статуса официальной государственной идеологии. Из этого опять ничего не получилось, но среди немногочисленных поборников возрождённого евразийства можно, тем не менее, обнаружить представителей почти всего спектра современного российского общества, от политического истеблишмента до националистически настроенных маргиналов, с упоением рассуждающих о „туранском элементе“ и о возрождении язычества в российской культуре. История этой второй жизни евразийской теории ещё только начинается. Несмотря на малочисленность приверженцев, она не сходит со сцены, уже много лет подряд от имени евразийства издаются газеты и журналы, в научных изданиях и в политических дискуссиях на него постоянно ссылаются, пытаются обосновать с его помощью самые противоречивые позиции. К сожалению, возрождённое евразийство изучено ещё меньше, чем его исторический прототип, хотя его настойчивая инструментализация для преодоления идейного вакуума требует серьёзного отношения и объективного анализа.

Ещё более актуальна в сегодняшней России теория „жидо-масонского заговора“, истоки которой, как и евразийства, восходят к периоду, отраженному в сборнике Копелева-Кёнена. К сожалению, и в Германии, и в других западных странах, где антисемитизм и теории заговора оттеснены на обочину социальной жизни, в малочисленные правоэкстремистские группировки, почти никто даже приблизительно не представляет себе масштабов антисемитских настроений и степень их интеграции в идеологию политического истеблишмента в России. Тот факт, что в России после развала коммунистической системы антисемитизм и национализм открыто стали составной частью левых политических идеологий и партий, что здесь сложился блок коммунистов и националистов (так называемый феномен „красно-коричневых“), почему-то вытесняется из сознания западной общественности и не становится предметом серьёзного научного и публицистического дискурса.

В коммунистическом Советском Союзе серьёзные исследования теорий заговора были невозможными. Коммунистическая правящая элита сама охотно брала их на вооружение, заменив термин „антисемитизм“ на „антисионизм“ и тем самым на словесном уровне сняв противоречие между своим программным интернационализмом и реальным антисемитизмом. Статья Йоханнеса Баура „Революция и „сионские мудрецы“. Формирование образа России в НСДАП на раннем

этапе её развития“ обращается к этой важной теме в её историческом аспекте, который в России из-за актуальных политических и экономических трудностей почти не находит доступа к читателю.

„Теории заговора, в которых всё крутится вокруг всемирного еврейского капитала и его большевистских приспешников, не были изобретением ранней НСДАП и её идеологов, хотя они развили и приспособили их в своих целях, – пишет Й. Баур. – Выдумка о еврейском заговоре, получившая новую пищу после большевистской революции, была широко распространена и переживала в эти годы период подъёма в международном масштабе. Французские, американские (Генри Форд) и немецкие антисемиты писали горы подстрекательских сочинений и книг, исполненных ненависти и имевших иногда большие тиражи. В рамках этого „антисемитского Интернационала“ немаловажную роль играли русские эмигранты“ (с. 180). В центре исследования Й. Баура – два самых известных пропагандиста „антисемитского Интернационала“ из России: Макс Эрвин фон Шойбнер-Рихтер и Альфред Розенберг. Оба из Прибалтики, оба этнические немцы, они являлись типичными представителями той группы „экспертов“ по революционной России, на которых в Германии был большой спрос из-за их знания языка, обширных связей в эмигрантских кругах и личного опыта (многие из них пережили революцию, или, как фон Шойбнер-Рихтер, боролись против большевиков в Прибалтике). Й. Баур даже употребляет в кавычках выражение „балтийская мафия“. Он отмечает, что в общем влияние этой группировки на формирование идеологии НСДАП и на Гитлера лично – общеизвестный факт, неоднократно зафиксированный в научной литературе. Но при этом неясными остаются роль и место конкретных лиц. Статья Й. Баура восполняет этот пробел. Помимо М. Э. Шойбнер-Рихтера и А. Розенберга, он упоминает и других участников прибалтийской группировки в Мюнхене: Отто фон Курзеля, Пауля Леверкюна и молодого поэта графа Пауля фон Кейзерлинга. Через Диртиха Эккарта, которого исследователи называют „творцом Гитлера“ и „акушером национал-социалистской партии“, эта группировка сблизилась с руководством национал-социалистского движения и лично с Гитлером. Й. Баур показывает, как идеи российского антисемитизма, носителями и распространителями которых в эмиграции выступало фанатичное фашиствующее трио: Ф. Винберг, П. Шабельский-Борк и С. Таборицкий, через „прибалтийскую мафию“ проникали в ряды руководства национал-социалистского движения и постепенно перерастали в расовую теорию. Последняя рассматривала евреев как носителей мирового зла, а славян – как неполноценный этнос. „Как бы ни завершился русский эксперимент, – писал А. Розенберг в „Мифе XX столетия“, – установление большевистского господства было возможным только внутри расово и душевно больного народного тела, способного лишь к бескровной „любви“, вместо того, чтобы отстаивать свою честь“ (см. с. 189).

У современного российского антисемитизма взгляд на историю XX. столетия остаётся неизменным. Все его драматические узловые пункты он объясняет с позиций теории заговора: большевизм и крах мировой коммунистической системы, посткоммунистический режим и неудачную политику кредитов МВФ в отношении России. Считая коммунизм еврейским проектом, значительные круги антисемитски настроенных россиян выступают в то же время за его реставрацию. Во всём этом нет логики, но есть огромная энергия и готовность к политическим действиям. Если евразийство и в начале, и в конце столетия осталось достоянием небольшого круга приверженцев, то возрождённый национализм и антисемитизм обладают энергетическим потенциалом, с которым не может сравниться ни одно другое идейное течение в сегодняшней России.

Особняком стоит в сборнике статья Аарона Коена (не путать с соиздателем сборника Гердом Кёненом!) „Революция и эмансипация. Образы русской женщины в немецком обществе“. Это единственная попытка высветить гендерную проблематику в рамках хронотопа, очерченного составителями. Для сборника, в котором нашли место 27 статей на самые разнообразные темы, это немного. Во всяком случае, это слишком мало, если учесть реальный вес данной проблемы и в исследуемый период, и на протяжении всей советской и постсоветской истории. В этом смысле сборник всё ещё не на „одной волне“ с англо-американскими исследователями, жадно изучающими вновь открытый объект истории – гендерные роли и стереотипы, гендерные мотивации социального поведения, модели гендерной идентичности. Стремление освоить не только исторические факты, но и историю сознания – это феномен *историографии* XX века и часть его *истории*. Одной из первых популярных работ этого направления была „Осень средневековья“ Й. Хейзинги (1919), хотя более сложная для читателя „Протестантская этика и „дух капитализма“ М. Вебера (1904) вне всякого сомнения относится к этому же направлению и может рассматриваться как его фундамент.

Успехи психоанализа и присущий XX веку интерес к личности сделали абсолютно необходимым и неизбежным дальнейшее развитие этого направления с его специфической методологией проникновения во внутренние мотивы поведения, их реконструкции и интерпретации. Синтез исторических личностей перестал быть компетенцией только художественной литературы, превратившись в одну из самых перспективных отраслей исторического знания. Большой вклад в её развитие внесла французская школа «Анналов», но и во всех практически странах появлялись работы по истории культуры с попытками реконструировать историческую психологию и её носителей – личности, социальные, этнические и религиозные общности, региональные культуры и т. п. Американская историография сконцентрировала свои усилия на изучении *гендерных ролей* в исторической перспективе. К сожалению, в Европе, и особенно в России, гендерную проблематику зачастую воспринимают как часть политизированного женского движе-

ния и соответственно к ней относятся, хотя в рамках гендерного дискурса реконструкция мужской и женской идентичности выступает как единая исследовательская задача.

Но надо отдать должное соиздателям сборника: они всё же включили в него эту единственную статью, которая эффектно завершает раздел „Крах и прорыв“. Автор, А. Коен, берёт за исходный пункт своего исследования книгу Нади Штрассер „Русская женщина“ (Die Russin“), которая вышла в 1917 году в берлинском издательстве „Фишер“. Эту книгу постигла странная судьба. С одной стороны, она плохо продавалась, её тираж так и не перешагнул 3.000 экземпляров. С другой стороны, она вызвала сильнейшую общественную реакцию и дала толчок длительной дискуссии в тогдашних средствах массовой информации – 22 рецензии в ведущих газетах и журналах.

А. Коен, как и другие авторы, отмечает глубокое смятение умов в немецком обществе, вызванное русской революцией. Никто по-настоящему не понимал её причин, целей и перспектив. Характерным является высказывание венского литератора Э. Фриделя: „Для нас русская душа столь же необъяснима, как и душа растения, животного или душа первобытного человека“ (см. с.527). Кое-кто из немецких авторов искал объяснения российским событиям в особенностях русской женщины и присущих России отношениях между полами: „Русская женщина была в представлении немцев прежде всего студенткой, общественной активисткой или революционеркой, для которой характерны сексуальный промискуитет, интенсивная вовлечённость в политическую деятельность и неопределённость половой специфики“ (с. 527), – так характеризует А. Коен восприятие немцами русской женщины в начале века. Русские студентки (и, вероятно, политические эмигрантки) демонстрировали за рубежом свою образованность, эмансипированность, раскованность, товарищеские отношения с мужчинами и гражданскую ответственность за судьбы своей страны. У немецких наблюдателей это вызвало амбивалентные чувства: восхищение и отторжение одновременно. Либеральные публицисты и писатели ставили немецкому обществу в пример успехи России в эмансипации женщин, а консерваторы, напротив, видели в эмансипированных русских студентках исчадия ада, лишённые какой бы то ни было морали. Панический страх перед сексуальным соблазном, исходящим якобы от россиянки, может вызвать у сегодняшнего читателя только смех. Автор из националистического лагеря, писавший под псевдонимом Генрих Лёве, призывал немецких мужчин не терять голову: „Наше слабое место – это молодежь мужского пола, которую непреодолимо влечёт к себе необычный, вызывающий тип русской женщины. То, что после войны начнётся мощный наплыв этих восточных гостей в наши университеты, лежит в природе вещей... *Давайте же беречь наше мужское население от яда русских нравов, и прежде всего – от влияния русской женщины...*“ (см. с. 538)

В книге Нади Штрассер тип русской женщины представлен вразрез с такого рода стереотипами – с восторгом и некоторой долей идеализации, как пример для Запада. По мнению Нади Штрассер, образованным русским женщинам удалось избежать трагической судьбы их западноевропейских сестёр – они не стали придатком и „декоративным украшением“ мужчин. Их жизненная сфера, деяния и устремления почти ни в чём не отличались от мужских. „По счастью, россиянкам во многом удалось избежать так называемого „истинно женского“. Их добродетели и пороки не являются „специфически женскими“ пороками и добродетелями...“, – пишет Надя Штрассер (см. с. 530). Исходя из этого, она даёт своё объяснение „множеству страшных легенд и измышлений“, окутывающих русских студентов и студенток в Западной Европе: „Как может буржуазная женщина, к примеру, хозяйка квартиры, наблюдающая за привычками и формами поведения, которые она не понимает, испытывать что-либо иное, кроме отвращения? Особенно когда речь идёт о святая святых – о морали. Россиянка в её глазах постоянно подвергает мораль адской опасности. Как ещё может она объяснить себе открытость, уверенность, полную непринуждённость в общении между мужской и женской студенческой молодёжью из России, кроме как полным отсутствием морали в любви?“

А. Коен проходит по всему спектру немецких представлений о женщине и революции в России. Книга Нади Штрассер является для него лишь предлогом для постановки темы. Он делает отступление к истокам и предыстории позитивных и негативных клише, которые в немецком сознании проецировались на русских женщин ещё до революции. Глубокое впечатление на немецкое общество произвели судебные процессы и казни народоволок в 80-х годах XIX века. Такой тип женщины был в Германии неизвестен. Немецкая женщина – домохозяйка и мать семейства, которой и в голову бы не пришло взойти на эшафот за народ, выглядела на фоне российского женского героизма убого, критики описывали её с досадой, почти со стыдом. В рецензии на книгу Нади Штрассер О. Флаке констатирует: „У нас в Германии только мужчине удалось выработать личность и характер. Женщина осталась в состоянии его „помощницы“ или „подруги“... в нашей стране утверждение о физиологическом слабоумии женщины может стать научной теорией“ (см. с. 533).

На противоположном фланге идеологического фронта немецкие консерваторы запугивали обывателя страшным призраком разрушительного русского национального характера, в котором в целом преобладает женская пассивность, эмоциональность и непоследовательность в сочетании с радикализмом. Стастная увлечённость русских революционной идеей, вспышка деструктивных эмоций, бездумное уничтожение фундамента собственного социального бытия были, по мнению многих консервативных критиков, манифестацией „женской сути“ русского национального характера.

После революции немецкие газеты и книги наполняются слухами, фантастическими историями об отмене брака, „свободной любви“ и обобществлении женщин в „красной России“. Появляются репортажи и романы, в которых революционная Россия предстаёт как страна сплошных убийств и изнасилований, где семейная жизнь и любовь больше не существуют, а сексуальные отношения деградировали до уровня животного инстинкта. Но уже вскоре после окончания гражданской войны и относительной стабилизации за рубеж начинают проникать сведения о дискуссиях относительно прав и новой роли женщины в советской России. Самое известное имя в связи с этой дискуссией – Александра Коллонтай. Её статьи и выступления обсуждались в Германии и до революции. После назначения в 1923 году послом в Норвегию и перевода на немецкий в 1925 году её книги „Пути любви“, она стала неоспоримым авторитетом в вопросе о достижениях женской эмансипации в России. Персонажи её рассказов воспринимались в Германии как „женщины будущего“, хотя сам Ленин высказал несогласие с её пониманием любви в ходе полемики по поводу пресловутой теории „стакана воды“.

А. Коен доводит своё исследование гендерной ситуации в России почти до периода „зрелого социализма“, где, как известно, революционный пафос и стремление к радикальным преобразованиям сменила приспособленная к коммунистической риторике консервативная идеология и укоренилась ситуация двойной эксплуатации женщины. В завершение своей статьи автор цитирует анекдот 60-х годов, в котором звучит горькая ирония по поводу плодов коммунистической эмансипации:

„Молодой рабочий только что женился и показывает своей жене план дома, который он собирается построить собственными руками. „А зачем он нам нужен, – спрашивает жена, – я появилась на свет в роддоме, воспитывалась в детском саду, а познакомились мы с тобой в стройотряде. Целый день я провожу на работе, потом иду на партбюро, а после на занятия в вечернюю школу. Дом нам ни к чему. С нас хватит комнаты, в которой ночью можно поспорить друг с другом о нашей партийной работе“.

В начале века ничто не предвещало, что в его конце российские женщины станут самыми яркими противницами феминизма и даже само это слово в русском обществе будет вызывать улюлюканья. Пожалуй, только приведённый А. Коеном анекдот помогает понять, почему в конце концов, после всех революционных перипетий, идеалом для российских женщин стала жизнь женщин западного среднего класса – по сути, тех самых убогих швейцарских мешанок, которые 80 лет назад сдавали комнаты эмансипированным русским студенткам. Это всего лишь один из многих парадоксов русской революции 1917 года. К сожалению, он касается почти 53% российского женского населения, с очень незначительными исключениями.

Сборник „Германия и русская революция“ невозможно равномерно и объективно отразить в краткой рецензии. Материалов, которые я не упомянула в этой рецензии, гораздо больше, чем тех, которые я попыталась представить читателю. Каждый имеет шанс найти в сборнике то, что созвучно его особым интересам и задать свои вопросы, которые, по словам Л. Копелева, всегда остаются. Один из таких вопросов он цитирует в своём заключении:

„Извлекают ли люди уроки из истории?“